

ВЕЛИК, ИЛИ СЧАСТЛИВОЕ УТРО

Матери моей, Антонине Фёдоровне, посвящаю

Сквозь вязкий и сладкий утренний ребячий сон почти в самое ухо ворвался тонкий петушиный крик. Радостно и досадливо Витёк подумал — Свисток разорался. Досадливо от того, что прервался необыкновенный сон, и радостно, что сегодня должно было произойти что-то хорошее, и предвкушение этого нового — рядом, только открой глаза, а вот этого-то и не хотелось.

Сон снился Витьку, что именно сегодня ему купят «Подросток», так назывался двухколёсный с блестящим, облитым никелем рулём, надувными шинами и не девчачьей рамой почти взрослый велосипед.

Это была давняя мечта Витька, недаром он целый год старался учиться на пятёрки, и вот, он — отличник и, возможно, именно сегодня они с отцом пойдут покупать велик. Витёк свернулся калачиком, подsunул ладошку под щёку и крепко зажмурил глаза: уж очень хотелось досмотреть, как он, защемив бельевой прищепкой штанину (не закатав, как все пацаны, а именно защемив по-взрослому), помчится по кривым, поросшим травой переулкам, по родной Грибодовой (хотя отродясь на ней не росли грибы), как за заборами разом залают собаки, и пацаны ватагой побегут за ним, а он как надаст скорости, как надаст, и без руля...

Над ухом резко, без передыха, дважды проорал Свисток. Ну вот, всё сорвалось! От досады Витёк резко сел на топчане и судорожно стал шарить глазами в полутьме — чем бы грохнуть в тонкую стенку летнего чулана. Ненавистный этим утром, а вообще-то гордость отца, Свисток сидел на выставленных на лето рамах, прислонённых к чулану, и намеревался заорать в третий раз. Ничего не найдя подходящего, Витёк быстро остыл, и вернулось ожидание праздника.

Он сунул ноги в огромные, разжмяканные в блин шлёпанцы, потащился во двор — позвал сладкий чай с мамиными ватрушками, выпитый в большом количестве на ночь. Доширжав шлёпанцами до соседского забора,

Витёк воровато оглянулся и, прицелившись между редкими досками, пустил струю в огород глухого, как пень, деда Охотникова. Сам дед уже вошкался в своей кузне и разжигал горн, в воздухе чувствовался угарный дымок. Стучать с раннего утра деду не позволяла его жена — жутко сварливая бабка Охотничиха — в поселковом обиходе. Непомерно толстая, неряшливая и ленивая, вечно болевшая «сердешными болями», она кляла всех и вся, а когда никого под рукой не оказывалось, смертно грызла своего прокопчённого и высохшего в щепку деда, «чёрт глухой» и «чёрт горбатый» — было на её языке самое ласковое. Витёк блаженно поднял уже порядком подпалённый нос навстречу всходившему солнцу и сквозь прищуренные веки ощутил разводы солнечной радуги. Он щедро полил уже всходившую вдоль забора картошку, свято веруя, что «мочевина», по словам отца, вечно озабоченного поисками перегноя и суперфосфата (клёкая земля большого огорода требовала неустанной заботы) — лучшее удобрение и он, как октябрёнок, — помогает деду Охотникову вырастить богатый урожай картошки.

К слову сказать, страсть отца к земле, к домашней живности помогла выжить большой семье в самое трудное время. Дети, правда, поймут и оценят талант отца только через многие годы...

— Витя, Витя! Ты, что ли?
— мать уже полола на огороде
грядки с ранней зеленью.

— Я, мам!

— Чего вскочил в такую рань?

— Да Свисток разбудил, разо-
рался как чумовой!

— Он у нас такой, голоси-
стый... — мать подошла, вытирая
руки о запон (так она называла
фартук), потрепала Витька по
вихрастой соломенной от солнца
голове, прижала лицом к мягко-
му животу.

Ох, и любил Витёк вот так
прижаться к матери, всегда
вкусно пахнувшей стряпнёй,
очень тёплой и уютной, мечтал
стать снова совсем маленьким
и забраться ей на руки... Витёк
от материнской ласки разомлел,
но, спохватившись, опасно
оглянулся — увидят пацаны его
в мамкином подоле — задразнят
«мамсиком» — прозвищем, не
отмываемом на улице.

— Мам! А велик сегодня пой-
дём покупать? Папка обеща-ал...

— Купим, купим. Ты бы по-
спал ещё, рано ведь, солнышко
только-только всходит, да и ма-
газин ещё закрыт — спят все.
Беги, позорюй, а я сейчас закон-
чу грядку, оладышков напеку.
Беги-беги, сосни чуток, я скоро,
да тихонько там, кабы Сергунь-
ка не проснулся.

Сергунька — толстый бело-
брысый четырёхлетний пацан,
младший брат Витька — «послед-
дыш» или «заскрёбыш» — был
восьмым ребёнком в семье. Был
он, этот вечно улыбающийся

Сергунька, непомерно тяжёлым,
и, когда приходилось на закорках
тащить его вслед непоседливой
ватаге уличных пацанов, Витёк
не всегда ограничивался ласко-
выми словами, хотя брата любил,
как любили и тискали его все, и
нацеловывали в веснушчатую,
облупленную от солнца голубо-
глазую смешливую мордашу, за
что Витёк его иногда ревновал.
Стараясь не шуметь, со шлёпан-
цами в руках, на цыпочках Витёк
пробрался в чулан, юркнул под
одеяло, свернулся калачиком и...
закружились перед глазами — ве-
лик с облитым никелем рулём,
улыбающийся Сергуня, зарос-
ший дикой бородой дед Охотни-
ков, мама, оладушки — и он про-
валился в сладкий утренний сон.

Проснулся он, когда солнце
уже всюю палило в маленькое
окошко чулана. Но проснулся
не от солнца, и не от вкусного
запаха маминых оладушек, сра-
зу наполнивших вечно голодный
рот слюной, а от орлиного клёко-
та Свистка и истошного, бабьего
крика соседского петуха по про-
звищу Тряпка.

— Опять Свисток его волтузит,
— подумал Витёк и улыбнулся.
Свисток — маленький разноцвет-
ный петушок, был на удивление
мал ростом, страшно драчлив и
любвеобилен. Шум во дворе пе-
рерос в дикий гвалт, потом за-
тих, лишь изредка прерываемый
всхлипами перепуганных куриц
и, наконец, троекратный побед-
ный крик Свистка возвестил об
окончании очередной баталии.

— Витя! Ви-иктор!..

Иногда мама в особых случаях употребляла это имя. Чуткое ухо человека, немало набедокурившего в свои чуть ли не девять лет, не уловило строгости в голосе матери, наоборот, он уловил сдерживаемую улыбку и что-то ещё, мамин голос звучал певуче и торжественно. Сердце Витька дрогнуло.

— Неужели?

Уже догадываясь (отец с матерью вечером таинственно шептались и переглядывались), он опрومتью, босиком вылетел во двор. Мать, сунув руки под запон, стояла посреди двора, а Сергуня, заливаясь смехом, крутил педаль облитого солнцем и никелем... велика! Он стоял, прислонённый к стенке сарая. Как зачарованный, Витёк пошёл по неубранному ещё двору, щедро загаженному курами, не замечая ничего вокруг, как блаженный, шепча:

— Велик, велик, величка... мой... мой... мой насовсем!

— Куда ты, босой, не метено ещё!

Голос матери дрогнул, и Витёк, резко развернувшись, бросился к ней, обнял, готовый расплакаться от чувств, вдруг нахлынувших на него, совсем не боясь, что увидят пацаны. Мать прижала его к себе, и вдруг что-то горячее капнуло ему на голову, тут и у Витька резко засвербило в носу и слёзы сами полились из глаз.

— Дурашка! Чего плачешь, ведь заслужил — пятерочник! Ну, иди, иди к своему велику! — и, слегка подтолкнув Витьку, запонем стала вытирать глаза.

— Спасибо, мам, — ещё не справившись с волнением, то ли сказал, то ли выдохнул Витёк.

Он, как и все в их большущей семье, рано узнал цену вещам. Отец работал один — мать сидела с детьми, хотя «сиденьем» это назвать было нельзя — с утра до вечера она готовила, стирала, вязала семье и на продажу при свете самодельной настольной лампы десятками пар варежки, носки, шарфы, шапочки, неустанно строчила на ножной швейной машинке, не забывала стегануть полотенцем слишком разошедшуюся разнокалиберную ребянтю и их вечно голодных друзей, а порой сунуть им по плюшке, не разбирая, где свои, а где чужие. Она успевала переделать тысячу дел, а денег всё равно не хватало, и покупка велосипеда была серьёзным подрывом «семейного бюджета» (любимое словечко отца).

Ах, мама, мама... Через много лет, совсем ослепшая, ты по голосу будешь пытаться различать детей, внуков, правнуков, часто путать имена и события, а руки заученным навек движением, без спиц, будут вязать и вязать бесконечный чулок. И какой же любовью и болью наполнялось сердце, когда, взяв мою руку своими изработанными, с синими жилками под истончившейся

до пергамента кожей руками, прижимала к щеке и заводила:

— Витюша... Приехал... Не забыл... — и надолго, как будто вслушиваясь в прошлое, уходила куда-то далеко, потом вздыхала:

— Устала я. Зажилась... — и опять надолго замолкала.

А сейчас, высокая и статная, с большой мягкой грудью, легко, на согнутой руке держа пудового Сергуню, в завязанном по-модному, «тюрбаном» платке, гордясь покупкой и сыном, она любовалась Витьком, думая, кто вырастет из этого шкодливого белобрысого пацана — книгочея, выдумщика и фантазёра?

Витёк, затаив дыхание, всё ещё сглатывая невольные слёзы радости, мелкими шажками подошёл к велику и любовно огладил блестящий прохладный руль, жёсткое седло, раму...

— Величка мой! Велюня! — осторожно, словно боясь расплескать переполнявшее его счастье, повёл велик к воротам, распахнул настежь, и его ослепило сумасшедшее солнце этого необыкновенного счастливого утра.

И... уже звала дорога, и будет она длинной и непростой.

СВИСТОК

Появление этого жителя нашего двора — густонаселённого курами, утками, голубями, кроликами и поросятами — было неожиданным. Отец любил всё крупное и плодovitое. Сам

крепко сбитый или «подбористый», как любил он выражаться, среднего роста, с ясными серо-голубыми смешливыми глазами и необычайно сильными руками — был человеком знающим, зачем он живёт на земле и не делающим ничего пустяшного, чего нельзя было бы употребить впрок или приспособить к делу, на пользу своего многочисленного семейства.

Это было не от врождённого рационализма или скупости. Уж слишком много пришлось пережить бате голодных годов. Это революция и разруха, голод 1921 года, когда он потерял отца, а нашего деда Степана, и в 11 лет остался за старшего с матерью и двумя сёстрами, голод 1931—33 гг., когда хлеб из лебеды с отрубями казался сладким пряником, а дети от этой сладости маялись животами, пухли и умирали. Потом Отечественная война и хлебные карточки, собственная семья из восьми детей да престарелая мать — всё это не очень-то располагало к разного рода отвлечениям от главной задачи — накормить семью.

А тут вроде как подменили отца. Задержавшись почти на час с работы (что считалось большой редкостью), он, таинственно улыбаясь, достал из-под полы пиджака коробку от диковинного по тем временам электрического утюга. Осторожно, как драгоценность, вынул из неё облезлого, всего в «костышах» будущего перьев на грудке и крыльях,

крохотного и хилого, неопределённого цвета, но с крупным не по росту гребнем, петушка. Для нас, выросших среди сотен подобных петушков и молодых (каждую весну мама из деревни от своей сестры «Клавдеи», работающей заведующей птицефермой, в больших коробках привозила сотню-полторы маленьких пищащих комочков, потом выроставших в белое беспокойное стадо), подобный экспонат был не в диковинку, и мы сразу потеряли к нему интерес. Отец бережно опустил «заморыша» на пол кухни, налил в блюдце воды и насыпал немного хлебных крошек. Петушок понуро стоял посреди кухни, никак не реагируя на происходящее.

— Сдохнет, наверное? — вслух предположил я.

— Типун тебе на язык! — нервно ответил на мою неудачную реплику отец.

Петушишка, как будто поняв наш разговор, вдруг вскинул гордо свою маленькую фасонистую головку, весь подобрался и, миг преобразившись, стал похож на этакого залихватского паренька в заломленном набок малиновом картузе. Ожил и, как-то по-особому вышагивая, деловито подошёл к блюдцу, смешно запрокидывая голову, попил воды и вдруг, захлопав крыльями, просвистел «ку-ка-ре-ку!». Именно просвистел, как маневровый паровоз, на что отец мгновенно отреагировал:

— Свисток! — и засмеялся.

Это первое «ку-ка-ре-ку!» вызвало на заднем дворе целую бурю неумелых сильных откликов молодняка. Эх, и вскинулся петушишка! Опустив свои ещё не до конца отросшие крылья, забегал кругами, смешно подпрыгивая и по-жеребьячи вскидывая голову. Все засмеялись, а отец горделиво произнёс, глядя на меня:

— А ты — сдохнет, сдохнет — он ещё покажет всем, где раки зимуют! — и легонько щёлкнул меня по носу.

— Пап, а он вырастет?

— Вырастет, вырастет, только немного — порода это такая, карликовая, а петь тонко, наверное, будет всегда, одним словом — Свисток.

Нам очень понравилось имя нового курёнка, а отец на удивление спокойно взял всё ещё беснующегося Свистка в руки и отнёс в специально сделанный накануне маленький вольер. С особой заботой отец холил и лелеял Свистка, и всё пронзительней и нахальней свистел он по утрам, вызывая недоумение соседей и всего птичьего населения. Незаметно Свисток отъелся на обильных батиных харчах, сдобренных рыбьим жиром и ещё какими-то снадобьями, перелинял и засверкал всеми цветами радуги. Гребень стал ещё пунцовой и свалился на сторону, сине-красно-зелёные перья в хвосте, алая выпяченная грудь и синеватой стали «зеркальца» на круто изогнутых крыльях, всегда готовых

взлететь или ударить, сделали его необычайно нарядным. Свистка ещё не допускали до курятника, отец что-то готовил. В один из батиных выходных от общей стаи отделили подросших и беспрестанно дерущихся молодых петушков. Часть неугомонной холостяцкой компании уже нашла свой конец во вкусной маминой лапше, другим осталось ждать недолго. Отец не оставлял на племя инкубаторских петухов, объясняя это тем, что они, якобы, утрачивают своё главное качество — пестовать и защищать куриное стадо и регулярно топтать несущек. Как многодетный отец, он, видимо, знал в этом толк.

И вот настал час, и отец, многозначительно подмигнув мне, как главному оппоненту, шепнул:

— Сейчас Свистка в курятник пускать будем.

— А старого петуха куда?

— Посмотрим... — неопределённо сказал отец.

Мы пошли в вольер, отец присел на корточки и долго смотрел на Свистка, а тот, чувствуя торжественность момента и тоже волнуясь, заходил кругами, распушив хвост и слегка приволакивая крылья. Эх, и красив же он был в этот момент! Видимо, разрешив все сомнения, отец открыл дверцу вольера, взял спокойно давшегося ему в руки Свистка (и всю жизнь только отцу он будет позволять брать себя в руки, для остальных это будет сопряжено

с риском быть исклёванным или избитым жёсткими крыльями) и, легонько прижав его к себе, приговаривал:

— Ну? Пойдём, Свистуля, знакомиться с хозяйством. Ты уж, брат, не осрами меня перед обществом. Держи хвост пистолетом!

— Па-а-ап! А старого петуха ты не убрал — он же побьёт Свистка?

— Посмотрим-посмотрим...

Так прежний наш петух неожиданно получил кличку Старый. Sic transit gloria mundi — так проходит мирская слава. Я не знал ещё этой истины древних, но Старого мне было жаль до слёз, и я замолчал в ожидании.

Старый петух, много лет управлявший куриным сообществом, был очень крупной белой птицей, трудно выговариваемой породы «леггорн» или что-то в этом роде. Был он, как и крупные мужики, незлобив, домовит, защищал цыплят и клушек (так называли у нас кур) от соседских котов и исправно делал своё петушиное дело. Но время шло. Вот и не верь, что всё живое имеет душу и разум. С появлением Свистка, даже не видя его, только слушая всё возрастающее по высоте и пронзительности пение, он как-то сник, перестал следить за своим некогда белоснежным оперением, ходил с загаженным помётом хвостом, позволял соседскому, вечно голлодному петуху Чернышу нагло

жрать дармовой комбикорм, а иногда и покушаться на святое — топтать холёных белых несушек прямо посреди двора — за что ранее, даже за попытку, был бы бит нещадно и с позором изгнан. Он потускнел, полюбил сидеть на поленнице, прикрыв оранжевой плёнкой глаза. Всё реже и реже раздавался его победный крик, означавший, что ещё одна несушка завтра снесёт яйцо.

Неизбежное настало. Отец выпустил Свистка в большой вольер. Боже мой! Какой же он был маленький, даже по сравнению с дебелими курами, вдруг прыснувшими в разные стороны, заполошно перекудахтываясь. Свисток опешил от шума, производимого несметным количеством обитателей двора. Всё кудахтало, хрюкало, крикало — с удивлением разглядывая это попугайное чудо, застывшее посреди двора подобно маленькой статуэтке.

Вдруг, подняв тучу перьев и пыли, что-то обрушилось сверху, разогнав потянувшихся было к Свистку любопытных несушек. Это Старый сверзился с поленницы. Встав во весь свой огромный рост, грязновато-серым айсбергом навис над ставшим ещё меньше и ещё ярче Свистком. Отец весь напрягся, готовый ринуться на спасение своего любимца, от волнения пальцы его рук сжимались в огромные кулачищи. Свисток, дрогнувший от шумного появления противника, видя

перед собой только необъятную грудь Старого, толстые, покрытые лишаястой чешуёй ноги с огромными шпорами — производил жалкое впечатление. Двор замер в ожидании трагической развязки: молодые петушки в предчувствии хорошей драчки заволновались, вытянув покрытые пеньками перьев длинные шеи, любопытно таращили глаза. По-бабьи, подбившись в отдельную стайку, скорбно застыли старые несушки — женскому их естеству противны жестокие буйства мужчин. Перестали ворковать голуби, только свинья в своей загородке продолжала тихонько хрюкать в вечном страдании от обжорства. Монументом стоял старый петух. Одним ударом своего толстеного загнутого клюва он мог зашибить собаку, шпорой распороть полосатую шкуру наглому коту, а этому мизерному франту-самозванцу хватит и оплеухи.

Свисток, предчувствуя неотвратимость развязки, вдруг стал неуловимо расти. Он вытягивался вверх, поднимаясь на вытянутых в струнку ногах, шея как-то по-особому горделиво изогнулась, придав ему отчаянно воинственный вид. Гребень раскалённым углем запылал над побелевшими от бешенства глазами. Вдруг он низко пригнулся и, встопорщив перья, стал похож на разноцветную еловую шишку, на ламповый ёршик, на истребитель, готовый пойти на таран. Стало понятно, что без боя он

не сдастся. Старый тоже напыжился, принял боевую стойку и стал ещё громаднее. Напряжение нарастало, казалось, ещё миг — и всё завертится в смертельной пляске.

Старый сверху презрительно рассматривал нарядного Свистка и думал: «Плюздик, стилига тонконогий, попугай. Я тебя враз расшибу. Я матёрых котов как мышат разбрасывал. Ща-ас как дам! Ща-ас получишь!»

Клокоча злобой, расшвыривая ногами сухой помёт и золу, Старый как танк ринулся на дерзкого самозванца.

— Ах!.. Ой!.. — в едином порыве простонал двор. Свисток яркой бабочкой мгновенно взмыл в воздух, а Старый в туче пыли с размаху ударился головой в отцовские сапоги.

— Ну, Старый, потише. Так ведь и убьёшь его ненароком, — улыбнулся отец и добавил: — Если попадёшь, конечно.

Старый, в боевом запале, слегка оглушённый ударом, не слышал отца, он, казалось, бормотал про себя: «Ща-ас дам! Ща-ас зашибу...» И снова, роняя перья, ринулся в бой. Всё повторилось, как и в первый раз. Пролетев тараном под свечой взмывшем вверх Свистком, Старый врезался в кучу несущек, разметав их по двору. Свисток уже стоял позади него, готовый продолжать схватку. Обескураженный такой «неправильной» битвой, Старый отряхнулся от пыли. Жёстко встал в боевую

стойку, но, осознав комизм происходящего, солидный возраст, прежнее положение — вдруг «сдулся», опал пером. Суетливо стал рассматривать что-то на земле, пару раз клонул невидимое зёрнышко, поскущел взглядом. Тихо, не оглядываясь, постарев и устало сторбившись, пошёл к поленнице, тяжело взлетел — вскарабкался наверх. Нависла липкая тишина. Двор молчал.

Стоя на поленнице, Старый вдруг взмыл во весь свой исполнинский рост, гордо оглядел своё бывшее «государство», всех этих несущек и «молодок», боготворивших его, принимавших его ухаживания, как знак особого внимания. Этих лопоухих недорослей-петушишек, чёртового выскочку — «попугая». Эх! Он шваркнул огромными когтями так, что полетели щепки, вскинул было крылья для прощального клича, но раздумал, снова потух, потоптался, как клуша на гнезде, грузно сел и закрыл глаза. Это был конец Старого.

Свисток, всё также в стойке «истребителя», ещё не веря в бескровную победу, проводил взглядом Старого, и, словно понимая весь трагизм финала и уважая самолюбие противника, не стал кричать победное «кука-ре-ку!». Он вдруг поднял голову и по-человечьи чихнул. Это было так смешно, что мы прыснули. Свисток оправился, потряхнув головой, лихо бросил на левый глаз пунцовый гребень и особой, будто на кончиках паль-

цев, «вздрыоченной» походкой зашагал вдоль выстроившихся шпалерами куриц, по-хозяйски, будто жил тут всегда.

Так необычно началась судьба петушка со смешным прозвищем Свисток. Любили его все за весёлый нрав, яркий наряд, развесёлый свист. Обнаглевший последнее время Тряпка навсегда забыл дорогу в наш двор. Яркой молнией летал Свисток по двору, попеваая всюду. Бесконечное количество раз за день звучал его развесёлый свист, означавший очередную любовную победу, за что его несказанно любили несуськи.

Однажды отец, собрав в плетёное лукошко дневной урожай яиц, озабоченно пересчитывал что-то в уме.

— Мать! Поди, глянь. Что за чудо! Куры по два раза в день, что ли, нестись стали. Да и яйца, по-моему, крупнее, с двумя желтками, кажется.

— Выдумаешь тоже! Насмешничаешь! Всё со своим Свистком не насвистишься! Как мальчишка носишься с ним! Покажи, что

за невидаль такая? Тесто у меня подошло, отлучиться не могу, — ответила мама из кухни.

Держа в руке почти прозрачное, необычайно продолговатое и крупное куриное яйцо, отец смотрел сквозь него на солнце и оно светилось розовато-жемчужным светом. Задумчиво почёсывая затылок, хмыкнул.

— Откуда что берётся! Фитюлька, а смотри, что вытворяет? Видно правду говорят — мал золотник... — и не закончил фразу. Ещё раз любовно осмотрел нарядную, «подбористую» фигурку загарцевавшего под его взглядом Свистка, чему-то хитро улыбнулся и пошёл в дом.

Старый незаметно исчез со двора, избегнув обычной судьбы отслуживших свой срок солдат. Он прожил достойную жизнь труженика, и, скорее всего, отец как-то устроил ему почётную старость. Он ценил тружеников. А Свисток долгие годы украшал жизнь нашего подворья, удивляя своей любвеобильностью и оглашая окрестности залихватским пением — свистом.